



жизни, радостью и уверенностью в том, что сейчас он нам эту радость подарит.

Кстати, по поводу одежды. Однажды, в разгар учебного года, кто-то встретил Бояджиева в коридоре ГИТИСа в парадном темном костюме, белой рубашке и каком-то необычайной красоты галстуке. На вопрос: "Вы идете сегодня на прием?" Бояджиев ответил: "Нет, я сегодня начинаю читать Шекспира". И это очень по-бояджиевски.

Конечно, "антикосмополитская" кампания сильно его надломилась. Хотя мы-то с ним встретились, когда он уже оправлялся после этого страшного удара. Оправился он, однако, не вполне, и прежде всего потому, что у него отнялся семинар по критике; этот семинар никогда к нему не вернулся, даже тогда, когда прошло время и все обвинения были сняты. Бояджиев никогда больше не занимался тем, что любил больше всего.

По своей натуре и по характеру профессионализма Бояджиев был во многих отношениях прямой противоположностью тому, к чему мы сейчас идем в театроведении, приближаясь к западному типу театрального критика — человека от журналистики, который по каким-либо причинам занимается театром. Бояджиев был воплощением русской традиции театральной критики. С первых шагов он стал прямым участником театральной жизни. И не только по причине того, что

работал завлитом, сначала в Ростове у Ю.Завадского, а потом в театре Красной Армии у А.Попова, но просто потому, что всегда ощущал себя человеком театра, который мог стать актером или режиссером, но выбрал профессию театрального писателя. Его нередко упрекали и до сих пор, кажется, готовы упрекать за описательность. С концептуальными формулировками у него тоже было все в порядке, но главным оставалось самозабвенное стремление воспроизвести в слове театральное наслаждение, причем, наслаждение не только идеями, заключенными в спектакле, но и самой его материей, актерской игрой, мизансценами, звуком, светом, цветом. Способность быть целиком поглощенным спектаклем, процессом рождения театральной радости — одно из главных свойств природы Бояджиева. Его восприятие спектакля всегда было живым и чувственным. И он умел передавать это на страницах рецензий и в лекциях — с покоряющим жаром и несравненным искусством.

...Мне рассказывали, как на репетиции "Чайки" Анатолий Васильевич Эфрос, разбирая с Николаем Волковым роль Тригорина, говорил, что Тригорин — труженик: встает рано утром и пишет-пишет, каждый день, словно выполняя урок. Вот, говорил Эфрос, я отдыхаю в Щельково. Каждое утро выхожу из дома и слышу стук пишущей машинки из

бояджиевского окна. При всей солнечной и яркой одаренности — совсем не тригоринской — Бояджиев был "вкалывальщик", работник, настоящая профессионалка. Потому-то столько он и написал, начиная с первой большой работы о средневековом театре для учебника до его последней книги, которой он, как многие говорили, дал слишком уж простодушное название — "Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения". Но такой уж была его лексика, его способ ощущать мир. Человек благородного ума и высокой простоты души, он не считал нужным скрывать свой восторг перед тем, что этого восторга заслуживало.

У нас, старых гитисовцев, были замечательные учителя. Но в моей памяти, в памяти многих моих сверстников этому человеку принадлежит особое место. С гордостью говорю: я — ученик Бояджиева.

## Видас Силюнас

Григорий Нерсесович Бояджиев принадлежит к той категории людей, которые, уйдя от нас, остаются с нами. И остаются не как суммарный образ, не как символ, памятник или надпись на памятнике, а остаются в многообразии своих живых черт. Как Бояджиев воспринимался при жизни, так он воспринимается и сейчас.

Одной из главных, запоминающихся его черт была празднич-

ность, южная праздничность. Однако вместе с тем в глубине глаз этого очень театрального человека, чувствующего вкус к игре, неизменно просвечивала грусть, глубокая грусть. Когда же ты начинал задумываться о причинах такой двойственности, то в голову приходила мысль, что свою потаенную печаль Бояджиев врачует и избывает театром, что театр для него лучшее лечебное средство. Ведь Бояджиев получал от жизни немало ударов. В молодости он перенес серьезную болезнь, она чуть было не свела его на тот свет, и сам признавался, что, лежа в больнице, выстоял только благодаря тому, что постоянно писал о театре, то есть играл в какую-то свою игру, игру не столько со смертью, сколько с жизнью. И это-то к жизни его и вернуло. Но выпадали на его долю и душевные травмы. Чего стоит одна только травля космополитов, которая многих сломала и сломала бесповоротно. Бояджиев выдержал. Театром он лечил не только тело, но и душу. И своей, и нашу.

Григорий Нерсесович воистину был рожден для театра, поскольку одним из ключевых для него всегда был момент "сейчас", "ныне", "немедленно". Он много писал про классику, но любил ее в той мере, в какой ощущал в ней факт живой театральной жизни. Все, начиная Эсхилом и заканчивая Брехтом, по ощущению Бояджиева, сочиняли для сегодняшнего театра. А потому настоящее мгновение тут же набухало мировым духовным опытом и становилось удивительно богатым и насыщенным.

В Григории Нерсесовиче, быть может, жило что-то дон-кихотское. Он не боялся пафоса, хотя был чужд экзальтации. В своем пафосе Бояджиев порой бывал даже избыточен, особенно, когда дело касалось его учеников и их сочинений. Фраза, которая сейчас показалась бы не более, чем забавной, нередко восхищала его до крайности своей романтической звонкостью. Бояджиевская способность восторгаться всегда была безмерно обаятельна. Я помню, например, такое его изречение в "Итальянских тетрадах" о венецианском гербе: "Лев с властно задраным хвостом".

Свои лекции Бояджиев совершенно естественным образом превращал в театр, и это было нечто большее, нежели просто театральность манеры, это была театральность мировосприятия и глубокое убеждение в том, что жизнь — это творчество. А потому театроведение и театральная критика воспринимались им как часть театрального действия. Бояджиев вовлекал нас, своих студентов, в самую гущу театрального космоса, который вбирал в его представлении все: и Софокла, и Мольера, и Любимова, и Эфроса, и Палатанасиу, и Марецкую, и нас. Как же лестно было входить в эту компанию, выходить на эту орбиту благодаря огромной, талантливой и щедрой творческой энергии Григория Нерсесовича!

## Елена Хайченко

На титульном листе своей книги "Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения", даря ее мне, Григорий Нерсесович Бояджиев написал: "Я рад подписать эту книгу не только законным словом Автор, но и еще более высоким титулом Учитель". При всей риторичности этой фразы в устах Бояджиева она звучала просто и правдиво. Серьезный ученый, знаток театра итальянского Возрождения и французского классицизма, блестящий театральный литератор, запечатлевший в слове прославленные постановки его дней, человек, состоявшийся во всем, за что бы

он ни брался, Бояджиев любил и холил свой талант, но более всего ценил возможность отдавать его другим.

В отличие от многих других театроведов его невозможно представить себе вне гитисовских стен. Заканчивалось лето, наступал сентябрь, и в коридорах института появлялся Бояджиев — помолодевший, загорелый, переполненный летними впечатлениями и всегда готовый поделиться ими со своей аудиторией. Он прекрасно читал лекции, увлеченно вел семинары, время от времени превращая лекционный класс в площадку для демонстрации наглядных примеров. "Наука об искусстве не может быть только наукой, — говорил он. — Звенья аргументации должны быть сюжетом". Поэтому, с легкой руки Бояджиева, студенты-режиссеры реконструировали сцены из трагедий Эсхила и Софокла, а театроведы разыгрывали сценарии комедии дель арте.

Но святая святых Бояджиева был его эксперимент по превращению гадких утят в легкокрылых лебедей. Наметив себе очередную "жертву", Бояджиев начинал чудодействовать над ней. И, глядь! Сбитая им стая лебедей до сих пор в полете, правда, давно уже без жоака.

"Сегодня у нас праздник", — говорил Бояджиев, входя в аудиторию, и это значило, что кто-то сегодня состоялся, и мы все вместе будем радоваться этому. Григорий Нерсесович не просто оценивал критическую работу в целом, он был чуток к каждой фразе, понравившейся — подчеркивал, запоминал, цитировал в своих собственных статьях, делая их классикой театроведческого лексикона. Со студенческой скамьи помню фразу, сказанную В.М.Гаевским о Б.Ливанове-Соленином: "Сердце клокотало на его губах", — так понравившуюся моему учителю Бояджиеву.

Со дня кончины Бояджиева прошло тридцать лет. За эти годы изменился театр, и те, кто о нем пишет, и этот самый лексикон. Сторонникам так называемой "концепционной" критики, выстраивающим концепцию взаимоотношений театра не столько с публикой, сколько с ней — критикой, Бояджиев может показаться сегодня слишком подробным, слишком многословным. Но если бы не эти подробности письма, могли бы мы сегодня увидеть, скажем, знаменитую "сцену на бочках" в исполнении А.Васадзе ("Отелло" У.Шекспира на сцене Грузинского театра имени Ш.Руставели) или веселую кадрили Ж.Вилара в финале им же поставленного "Дельца" О.Бальзака на сцене ТНП?

Бояджиев возвращается к нам из прошлого как волна любви, взлелеявшая нашу юность. Он был романтиком, рыцарем, поэтом. Вспомним названия хотя бы некоторых его книг и статей: "Поэзия театра", "Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения", "Мистерия Сикстинской капеллы", "Поэтическое завещание Жерара Филипа" — в них звучит живое восхищение перед искусством как высшим проявлением человеческого духа. Бояджиев был настоящим жизнелюбом. Тем страшнее был его уход.

Материал подготовила  
Мария ХАЛИЗЕВА

● Г.Н.Бояджиев,  
А.К.Дживелегов и А.А.Аникст.  
Из собрания ЦНБ СГД  
● Г.Н.Бояджиев со студентами  
ГИТИСа.  
Фото из семейного архива



Зрители и сцена —